

Ирина Савицкая



ПЕПЕЛ

КАЖДУЮ НОЧЬ НА КОЛЕНЯХ

Ирина Савицкая

Пепел. Каждую ночь на коленях

«Литнет»

2026

Савицкая И.

Пепел. Каждую ночь на коленях / И. Савицкая — «Литнет», 2026

Брат жив и сейчас находится под круглосуточной охраной, а вчерашняя медсестра хосписа теперь стоит на коленях в закрытом гараже с кляпом во рту. Савва не задает никаких вопросов. Он просто сдирает с нее больничную форму своими грубыми пальцами, пожирая ее глазами. «Ты не отработаешь этот долг ни за месяц, ни за год. Ты будешь платить каждую, слышишь, каждую ночь, пока я не перестану видеть ее лицо вместо твоего». Его дыхание пахнет дорогим виски и жгучей ненавистью, а прикосновения уже обжигают не только стыдом. Ей плевать на его боль, но, когда он входит в нее резко и без просьбы, ее тело кричит «да» раньше, чем мозг успевает соврать.

© Савицкая И., 2026

© Литнет, 2026

Содержание

Часть 1. Сжигающее прошлое	Глава 1. У каждой монеты есть две стороны	5
Глава 2. Тот, кто не дышит		8
Глава 3. Тень		11
Глава 4. Тень на стене		14
Глава 5. Чабрец и сталь		20
Глава 6. Глаза не должны моргать		25
Конец ознакомительного фрагмента.		26

Часть 1. Сжигающее прошлое Глава

1. У каждой монеты есть две стороны

Запах гаража Вера почему-то считала запахом лжи. Возможно, потому что три минуты назад, когда её, всё ещё в сбившейся на животе больничной форме, втолкнули внутрь, она подумала, что хуже этой вони бензина, старого масла и холодного бетона уже ничего не может быть. Но ошиблась. Хуже оказался мужчина, стоящий посреди всего этого, как чёрный обелиск.

Савва не курил. Он просто стоял, прислонившись к капоту «Мерседеса» последней модели, и смотрел на неё так, будто она уже труп. Нет, хуже. Будто она та, из-за кого этот труп появился. Её брат Костя, которого она мысленно уже похоронила за решёткой, на самом деле лежал в мягкой постели под кислородной маской, дышал через раз, а она стояла здесь на коленях с кляпом во рту.

Кляп был впервые в жизни. Вкус прорезиненной ткани, слюна, которую невозможно проглотить, и мокрое пятно на груди от собственных слёз. Вадик, тот самый, с масляными глазами, заломил ей руки за спину профессионально, с хрустом, но Савва бросил одно слово:

— Выйди.

И Вадик исчез, будто его и не было, только железная дверь лязгнула.

Гараж поглотила тишина, нарушаемая только звонким, надрывным дыханием Веры и низким, грудным — Саввы. Он не спешил, приближался медленно, как тяжелая машина. Кожаная куртка скрипела на каждом шагу. Пахло от него так, что у Веры закружилась голова: виски, табак, ещё что-то очень личное, казавшееся запахом хищника, который обходит свою клетку.

— Сними форму, — сказал он. Не попросил, не приказал даже, а просто обозначил факт, не терпящий возражений.

Вера мотнула головой, хотя понимала, что поступает глупо. Зачем? Он же всё равно сделает по-своему.

Савва наклонился. Вблизи его лицо оказалось страшным: сломанный нос, тонкая ниточка шрама через бровь, татуированные пальцы, когда-то сжимавшие нож, а теперь открывающие дверь элитного автосалона. И глаза — выцветший серый лёд, в котором горела только одна эмоция.

Ненависть.

— Ты не поняла, девочка, — его голос упал до хрипа. — Я не прошу. Твою жизнь кончили не судьи в париках, её кончил твой ублюдок-брат, когда сел за руль пьяный. А ты сейчас передо мной, потому что он — всё, что у тебя есть. И пока я не решу, что хватит, ты моя. Моя вещь. Моя игрушка. Моя ночная гостья.

В последних словах впервые проскользнуло что-то похожее на боль, но он быстро подавил это.

Его пальцы — грубые, с обкусанными ногтями — взяли за ворот её униформы. Вера услышала, как трещит ткань. Он рвал её не как платье любовнице, а как бинты с трупа. Пуговицы разлетелись по бетону, звякнув, как маленькие колокольчики. Холодный воздух коснулся живота, груди. Лифчик — дешёвый, хлопковый, купленный на распродаже — лопнул на спине от одного его движения.

— Зачем? — попыталась спросить она, но из-за кляпа получилось лишь жалкое мычание.

Савва выдернул кляп грубо, так, что уголки губ треснули. Вера почувствовала вкус крови.

— Я же сказал, — проговорил он, положив ладонь ей на горло. Не душил, просто держал, чувствуя её пульс. — Ты не отработаешь этот долг ни за месяц, ни за год. Ты будешь платить

каждую ночь, слышишь, каждую, блядь, ночь, пока я не перестану видеть её лицо вместо твоего.

— Чьё лицо? — хрипло спросила Вера, хотя знала ответ.

— Алисы. — Имя сорвалось с его губ, как камень, брошенный в воду. — Ей было двадцать два. Она любила солнечный свет и ненавидела цветы в горшках. А твой конченный братец въехал в её «Смарт» на красный. И она не кричала, Вера, она просто перестала жить. На месте.

Слёзы текли по лицу Веры, но не от жалости, а от ужаса. Потому что она знала: Костя не пил за рулём. Он клялся мамой, которая уже два года дышала через раз в реанимации. Но улицы молчали, свидетели исчезли, а экспертизу, как сам Савва сказал на суде, купили родители того второго водителя, который выжил и дал показания. Разве это сейчас имело значение?

Савва расстегнул ширинку. Вера не смотрела туда, она смотрела в его глаза. Там, за ненавистью, плескалось что-то другое — голод, такой дикий, звериный, от которого у неё внутри всё перевернулось.

— Разведи ноги, — сказал он. — Сама. Или я сломаю.

Она не развела. Тогда он просто повалил её на спину. Бетон больно ударил в лопатки. Савва накрыл её своим телом — тяжёлым, горячим, пахнущим сталью и виски — и вошёл резко, сухо, не спрашивая позволения.

Вера закричала, но не от боли. Первые секунды боль была, острая, как лезвие, но потом её тело, преданное и глупое, забывшее мужские руки за два года после того неуклюжего однокурсника, вдруг выгнулось, как струна. Она обхватила его ногами сама, без приказа, и вцепилась ногтями в его спину сквозь кожаную куртку.

Савва замер на секунду. Посмотрел сверху вниз. В его глазах мелькнуло удивление, а потом дикая, нечеловеческая усмешка.

— Вот так, — выдохнул он прямо ей в губы. — Вот такая ты мне нужна. Не жертва, а та, кто сгорит со мной заживо.

Он двигался жёстко, ритмично, не спрашивая, как ей, но её тело не врало. Каждый толчок отзывался внизу живота жидким огнём, который поднимался всё выше, пока не заволок мозг. Вера слышала свой голос — чужой, хриплый, полный такого отчаяния и такого наслаждения, что ей стало страшно. Она кончила в тот момент, когда он прорычал имя Алисы.

Она кончила, когда он мстил ей за мёртвую девушку.

После всего он встал, застегнул джинсы, достал из кармана белый накрахмаленный платок и бросил ей на живот.

— Вытрись и приведи себя в порядок. Через час приедет машина, отвезут к брату. — Он повернулся к ней спиной. — Но учти: его жизнь — это единственное, что держит меня от того, чтобы сделать с тобой всё, что я делал с должниками десять лет назад. Я тебя по частям пушу, Вера. И первую ночь ты запомнишь, как райский курорт.

Дверь лязгнула, и он ушёл.

Вера сидела на холодном бетоне, глядя, как хлопает стальная створка, и чувствовала между ног тепло его семени, смешанное с её собственной влагой. И один-единственный вопрос стучал в висках: почему ей это понравилось?

А за дверью гаража, прислонившись к стене и сжимая в кармане телефон с записью, стоял Вадик и облизывал пересохшие губы. Но никто из них не знал, что Савва уже полгода тянул эту нить — не через суды и адвокатов, а через грязь и страх. Он мог раздавить их всех в первую же неделю, но тогда правда умерла бы вместе с ними. А он хотел, чтобы правда сначала закричала. Потому что он всё слышал, и это было круче любого порно, которое он когда-либо смотрел.

От Автора.

Хочу порадовать Вас этой книгой.

Если она Вам понравилась, то, пожалуйста, Подпишитесь на автора Ирина Савицкая(нажмите на имя автора сверху, затем кнопку: Подписаться) и поставьте сверху отметку: "Мне нравится". Благодарю Вас.

Глава 2. Тот, кто не дышит

Вера не помнила, как оказалась в машине. Сознание словно отключилось на полпути между бетонным полом гаража и холодным воздухом улицы, а включилось уже здесь — в чёрном внедорожнике с тонированными стёклами, пахнущем новой кожей и чужим потом. Водитель, молодой парень с бычьей шеей и стрижкой под ноль, не произнёс ни слова, только пару раз покосился в зеркало заднего вида, и в этом коротком, почти неуловимом взгляде читался немой вопрос: «Ты как?»

Она не ответила. Сидела на заднем сиденье, сжимая в кулаках края своей униформы — вернее, того, что от неё осталось. Савва не порвал форму полностью только потому, что после его рук от неё почти ничего не осталось. Какой-то парень в чёрном, кажется тот же Вадик, бросил ей спортивный костюм — серый, мешковатый, пахнущий дешёвым стиральным порошком из отеля при вокзале. Вера натянула его на голое тело, потому что лифчика больше не существовало, а трусы... она засунула их в карман. Сама не зная зачем. Может, чтобы не забыть, что они вообще были. Или чтобы не потерять последнюю ниточку к той нормальной жизни, которая закончилась сегодня ночью.

Между ног всё ещё саднило. И горело. И, боже, какая же это была гадость — понимать, что часть этого жжения вовсе не боль, а память тела. О том, как он вошёл. Как она выгнулась навстречу, предательница. Как её собственный голос, хриплый и чужой, полный животной радости, разбивался о бетонные стены гаража.

«Ты сумасшедшая», — сказала она себе мысленно, глядя в тёмное окно, за которым проплывали мокрые от недавнего дождя улицы. — «Ты просто сумасшедшая. Это шок. Это защитная реакция. Так не бывает».

Но низ живота пульсировал в такт ударам сердца, и этот пульс не врал.

Машина остановилась у знакомого серого здания. Хоспис. Её хоспис. Место, где она работала два года, где научилась не бояться смерти, а просто помогать ей приходить вовремя. Здесь всегда пахло варёными простынями, мочой и почему-то ванилью — Баба Зина каждый вечер ставила аромалампу в коридоре, чтобы «смерть не казалась такой противной». Здесь Вера впервые увидела, как тихо уходит человек, и поняла, что главное — не плакать над ним, а сделать так, чтобы он не боялся.

Теперь она не знала, к кому из них двоих привязалась сильнее и кто из них вообще уходит.

В палату брата её впустили не сразу. У дверей стояли двое — не охранники в форме, а свои, саввины. Кожаные куртки, одинаковые ушные гарнитуры, одинаковые безразличные лица. Один из них, с родимым пятном на щеке, кивнул на камеру в углу коридора и сказал негромко, но весомо:

— Смотри, Вера. Не дури. Он добрый, пока ты хорошая девочка. Но мы — нет.

Она кивнула, хотя внутри всё сжалось от этой простой угрозы. «Он добрый» — про того, кто только что брал её на холодном бетоне, как берут своё. Добрый. Слово из параллельной реальности.

Костя лежал на кровати, отвернувшись к стене. Его тело — тонкое, почти прозрачное, с выпирающими позвонками и остро проступающими ключицами — натягивало больничную пижаму, будто скелет, обтянутый тканью. Рядом на тумбочке застыл нетронутый ужин: остывшая гречка, кусок серого хлеба, стакан чая, который давно уже стал тёмным и горьким. Рядом с тарелкой лежал телефон. Выключенный. Они дали ему телефон, чтобы Вера могла звонить, но он сам его отключил, и это было больше, чем если бы она увидела его в слезах.

— Кость, — позвала она, и её голос прозвучал чужим, будто не её вовсе.

Он не повернулся. Только плечи дрогнули, и этот короткий, почти незаметный спазм сказал ей больше, чем любые слова.

Вера подошла ближе. Села на край кровати — того самого, где они когда-то, детьми, боялись темноты и прятались под одним одеялом от грозы. Тогда она была старше всего на три года, но уже знала, что если не защитит его, никто не защитит. Мать ушла, когда Косте было пять, оставив им записку и пачку пельменей в морозилке. Отец сел, когда Вера заканчивала школу, и они остались вдвоём. Совсем одни. И вот теперь — снова вдвоём, но в ловушке.

— Посмотри на меня, — попросила она, беря его за руку.

Костя повернулся медленно, как будто каждое движение стоило ему нечеловеческих усилий. Его лицо, осунувшееся, с синевой под глазами и землистым оттенком кожи, было мокрым от слёз. Губы тряслись, и он что-то пытался сказать, но из горла вырывался только сиплый стон, похожий на звук ломающейся ветки. После аварии он почти потерял речь — врачи сказали, что это временное, что язык не повреждён, просто психика. Но прошло уже три месяца, а Костя мог только «да», «нет» и иногда, по ночам, когда ему казалось, что Вера спит, прошептать одно и то же: «Вер, прости... прости...»

— Тихо, — она погладила его по щеке, и её собственная рука дрожала так, что пришлось придержать её другой. — Всё будет, слышишь? Всё будет хорошо.

Он схватил её запястье с такой силой, будто хотел выкрутить кость, будто боялся, что она исчезнет. И прошептал — это слово далось ему с кровью, с хрипом, с мукой, от которой у Веры перехватило дыхание:

— Что... он... с тобой... сделал?

Вера отвела глаза. Посмотрела на камеру в углу палаты — маленький чёрный глаз с красным огоньком, который горел ровно, не мигая. Где-то там, в кабинете Саввы, на экране ноутбука, сейчас разворачивалась эта сцена: больной парень, его сестра, их обречённые лица. И он смотрел. Наверняка смотрел, попивая свой виски и прожигая экран ненавидящим взглядом.

— Всё нормально, — сказала она в объектив, чуть громче, чем нужно было для брата. — Я просто работаю. Это работа, Кость. Такая работа.

Костя зажмурился, и по его щеке скатилась ещё одна слеза, упала на больничную простыню и оставила на ней тёмное, быстро впитывающееся пятно. Вера наклонилась и поцеловала его в лоб — сухими, потрескавшимися губами, всё ещё помнящими вкус крови там, где Савва вырвал кляп, там, где ткань разорвала уголки губ.

— Я вытащу нас, — прошептала она прямо в братово ухо, почти касаясь его губами. — Клянусь тебе, Кость. Но ты должен держаться. Ты должен жить, слышишь? Не смей умирать. Не смей сдаваться. Пока я дышу, ты будешь дышать. А я пока дышу.

Костя замер на несколько долгих секунд, а потом медленно, очень медленно кивнул. Один раз. Как приговорённый к смерти, которому вдруг дали отсрочку, но он ещё не верит, что это не сон.

Дверь распахнулась, и на пороге вырос тот же охранник с бычьей шеей, только теперь без камуфляжа, в простой чёрной футболке, обтягивающей его мощные плечи. Он не вошёл, просто остановился на пороге и бросил:

— Время вышло. Едем.

Вера встала, и Костя вдруг вцепился в её рукав — тонкими, почти прозрачными пальцами, которыми ещё недавно сжимал ручку двери автомобиля за секунду до удара. Но пальцы разжались сами, сил не хватило, и он остался лежать, глядя в потолок мокрыми, красными глазами.

У двери Вера обернулась. Посмотрела на брата, потом снова на камеру. И сказала туда, в красный огонёк, не дрогнув ни одним мускулом на лице:

— Передай своему хозяину. Я всё поняла. И да, у меня есть вопрос.

Она не договорила, какой именно. Охранник взял её за локоть — не больно, но крепко, как берут вещь, которую нельзя уронить — и вывел в коридор.

Там, у выхода, опираясь на швабру и глядя в окно, стояла Баба Зина. Вера хотела пройти мимо, но старуха перехватила её взгляд и покачала головой — медленно, будто отмеряя каждую секунду. А потом сказала тихо, так, чтобы слышала только она:

— Волка бояться — в лес не ходить, дочка. А ты уже в чаще. Не оглядывайся назад — там только твои следы, а не дорога.

Вера не ответила. Только сжала зубы так, что занесли челюсти, и шагнула за дверь, в серое утро, которое совсем не походило на начало новой жизни.

Оно походило на конец старой.

Глава 3. Тень

Она задала этот вопрос не в машине, хотя по дороге от хосписа до элитного поселка у неё было достаточно времени, чтобы прокрутить его в голове раз двадцать. И не в гараже, куда её, как она опасалась, могли привести снова. Вместо этого её привезли обратно в дом Саввы — не в гараж, а в самый настоящий дом. Двухэтажный особняк в элитном поселке, где за высоким, почти крепостным забором прятались от мира такие же, как он: бывшие или настоящие, но всегда с деньгами и всегда с оружием в кабинете.

Вера шла за провожатым по мраморному полу, оставляя влажные следы от своих кроссовок на идеально натертой поверхности. Мимо картин, которых не понимала и не хотела понимать, — абстракция, тяжелые рамы, слишком дорого для её вкуса. Мимо лестницы с коваными перилами, где каждый завиток стоил, наверное, как её годовая зарплата в хосписе. В кабинет.

Савва сидел за столом, и эта картина — хозяин жизни и смерти в окружении атрибутов власти — выглядела настолько естественно, что Вера на секунду почувствовала себя не гостьей, а экспонатом, который принесли показать. Перед ним стоял ноутбук с пригасшим экраном, пустая чашка из-под кофе, бутылка виски без этикетки и один стакан. На экране, когда она успела заметить, зависло её лицо крупным планом — тот самый момент, когда она поцеловала брата в лоб, стараясь не смотреть в камеру, но чувствуя её кожей затылка.

— Ты хорошо сыграла, — сказал он, не поднимая головы, и голос его звучал устало, будто он не спал не одну ночь, а все последние три года. — Прямо по нотам. Особенно фраза «я работаю». Это была импровизация?

— Вопрос, — перебила Вера, и её собственный голос прозвучал жестче, чем она ожидала. Гораздо жестче, чем позволяло положение заложницы в чужом доме.

Савва поднял глаза. Серые, с той самой льдинкой, которую Вера уже научилась распознавать. Но сейчас в них не было ненависти — ни той жгучей, что она видела в гараже, ни той холодной, которой можно замораживать людей заживо. Сейчас там было любопытство. Дикое, почти нездоровое любопытство хищника, который нашел в своей клетке мышь, которая не бежит, не прячется, а смотрит прямо в пасть.

— Валяй, — бросил он, откидываясь в кресле и жестом показывая, что время пошло.

Вера сделала шаг вперед, потом еще один, пока не уперлась коленями в край его стола — массивного, дубового, который, наверное, пережил не одну сделку и не один труп. Она смотрела ему в глаза и говорила медленно, чеканя каждое слово, чтобы он не мог не расслышать:

— Кто убил Алису на самом деле?

Тишина, которая наступила после этого вопроса, была такой густой, что Вера слышала, как в соседней комнате тикают старинные напольные часы — размеренно, с каким-то зловещим спокойствием. Савва медленно, очень медленно откинулся в кресле до самого упора, положил руки на подлокотники, и свет от настольной лампы упал на его татуированные пальцы — черепа, пламя, кресты, — и Вере на миг показалось, что эти рисунки живут своей жизнью, шевелятся, дышат.

— Ты умная, — сказал он наконец, и в голосе проскользнуло что-то похожее на уважение, смешанное с сожалением. — Это плохо. Умные женщины долго не живут в моем мире.

— Я медсестра, — ответила Вера, не отводя взгляда, хотя внутри всё тряслось так, что она боялась — вот-вот зубы начнут выбивать дробь. — Я знаю, как выглядит опьянение. У Кости эпилепсия с детства, он даже пиво не пьет — боится приступа, боится, что таблетки перестанут работать. Экспертиза показала 1,2 промилле. Либо он тайно стал алкоголиком за три месяца до аварии, что невозможно, потому что он сидел дома и почти не выходил, либо...

— Либо её купили, — закончил Савва, и его губы растянулись в усмешке — страшной, хищной, такой, от которой у Веры по спине побежали мурашки, хотя в кабинете было тепло.

— Ты думаешь, я не знаю? Ты думаешь, я поверил, что твой овощ-брат сел пьяным за руль? Не поверил. С самого начала. — Он подался вперед, и теперь их разделяло всего полметра. — Но у меня были варианты. Я мог заказать новую экспертизу, — продолжил Савва, и его голос стал глуше, будто он объяснял очевидное ребёнку. — Мог нанять лучших сыщиков, перетрясти всех свидетелей, купить любого судью. У меня хватило бы на это и денег, и связей. Но тогда бы я убил не виновных, а только время. Потому что в этой игре все концы вели к одним и тем же людям — тем, кто сидит выше и чьи карманы глубже моих. Любая официальная проверка утонула бы в бумагах, а неофициальная — в крови моих же людей. Единственный способ докопаться до правды — дать преступникам поверить, что я клюнул на их наживку. Что я ослеп от горя и буду грызть тех, кто под руку попадётся. Так они расслабятся. И тогда я ударю. Либо я убиваю вас обоих — быстро, чисто, без лишних разговоров — и никогда не узнаю правду. Либо оставляю тебя в живых... и ты, сама того не зная, приведешь меня к тому, кто это сделал.

Вера отступила на шаг, потом на второй, пока спиной не уперлась в книжный шкаф, полный одинаковых кожаных корешков — наверное, для красоты, потому что такие люди редко читают, они предпочитают держать книгу закрытой, чтобы никто не видел, что внутри.

— То есть... — она сглотнула, горло пересохло так, что язык прилип к нёбу. — Я наживка?

— Ты пепел, Вера. — Савва встал из-за стола, и это движение было плавным, кошачьим, без единого лишнего звука. Он обошел стол, приблизился так, что она снова почувствовала этот запах — виски, табак, дезодорант и ещё что-то чужое, личное, что бывает только у тех, кто живёт на грани. — Алиса была огнём. Ярким. Коротким. Она горела так сильно, что я ослеп. А ты — то, что остается, когда огонь гаснет. И я буду нюхать этот пепел, пока не пойму, кто задул свечу.

Он поднял руку и провел костяшками пальцев по её скуле — нежно, почти ласково, омерзительно нежно для того, кто несколько часов назад рвал на ней одежду и брал силой. Вера замерла. Её тело снова предавало — внутри всё оборвалось, ухнуло вниз, в тот самый жар, что она испытала на бетонном полу гаража, и этот жар был страшнее любой угрозы, потому что он был неподвластен разуму.

— Ты искала справедливость, — прошептал Савва, и его дыхание коснулось её губ. — Её нет. Есть только я. И мой способ.

Он убрал руку, развернулся и отошел к окну, встал спиной, глядя на темный сад, где фонари выхватывали из темноты мокрые ветки деревьев и капли дождя, повисшие на листьях. Вера осталась стоять у шкафа, боясь пошевелиться, боясь, что ноги подкосятся.

— Сегодня ночью ты будешь спать в моей спальне, — сказал он, не оборачиваясь. — Не на полу. В постели. Я хочу чувствовать, как ты дышишь. Как ворочаешься. Как боишься. — Он замолчал на несколько секунд, и в этой тишине снова затикали часы. — А завтра я позвоню одному человеку. И ты начнешь работать не в хосписе, а рядом со мной.

— Кем? — выдавила Вера, и голос её сел, превратился в хрип, похожий на тот, каким говорил её брат.

Савва обернулся через плечо. Улыбнулся вполоборота — не той страшной улыбкой, а другой, почти печальной, словно он видел нечто, что ей было не дано разглядеть. И сказал так, будто речь шла о погоде или о цене на нефть:

— Моей тенью. Моей болью. Моей девочкой на побегушках. А если повезет — моим прокурором. Потому что ты единственная, кому я могу доверять. Как думаешь, почему?

Вера не ответила. Она стояла посреди его кабинета — грязная, в чужом мешковатом спортивном костюме, с ноющей болью между ног и с одним единственным пониманием, которое пробивалось сквозь страх, сквозь отвращение, сквозь тот самый предательский жар внизу живота.

Он не лжет. Он действительно доверяет ей.

Потому что он только что признался: «Я знаю, что твой брат не виноват».

А значит, весь этот ад — гараж, насилие, кляп, слёзы, холодный бетон — был не мстью. Это была проверка. Жестокая, унижительная, почти звериная проверка на прочность. Он смотрел, сломается ли она. Заплачет ли. Попросит ли пощады. Она не попросила.

— Ты чудовище, — сказала Вера, и эти два слова стоили ей больше усилий, чем вся предыдущая ночь.

Савва кивнул, и на его лице не дрогнул ни один мускул.

— Да, — сказал он просто, как говорят «дважды два — четыре». — Но теперь ты мое чудовище. Иди в душ. Третья дверь направо. Полотенца в шкафу. Через час я поднимусь.

Он отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен.

Вера пошла к двери, и каждый шаг давался ей как по минному полю — она не знала, что взорвется в следующую секунду, её собственное сердце или его терпение. На пороге она замерла, обернулась, но так и не решилась спросить то, что вертелось на языке: «Почему именно я?»

Потому что ответ она знала. Она была удобной. Беззащитной. Привязанной к брату, как к якорю. Идеальной наживкой. Идеальной тенью. Идеальной вещью.

В коридоре, прижимаясь спиной к прохладной стене, она выдохнула — долго, со всхлипом, как выдыхают, когда боишься, что следующего вдоха может не быть. И пошла искать душ.

Вода была горячей, почти обжигающей, и она стояла под ней, глядя, как розовые ручейки стекают в сливное отверстие. Кровь? Нет, не кровь. Смывала его запах. Его прикосновения. Его унижение. Но как смыть то, что внутри? Как смыть тот момент, когда её тело сказало «да»?

Она не знала. Она только знала, что теперь её жизнь разделилась на «до» и «после». И в этом «после» не было места прежней Вере. Только пепел.

А в кабинете, глядя на темный сад, Савва медленно достал телефон и набрал номер. Гудок. Второй. Третий.

— Глеб, — сказал он, когда на том конце ответили. — Завтра у нас новая сотрудница. Подготовь документы. И убери всех, кто может задавать лишние вопросы. — Он помолчал. — Да, ту самую. Приведи в порядок. И запомни: её брат — в неприкосновенности. Если с ним что-то случится, я лично сниму шкуру с каждого, кто к нему прикоснулся.

Он сбросил вызов и поднес стакан с виски к губам. За окном начинался новый день, серый, промозглый, без единого луча солнца.

Именно такой, какой ему нужен.

Глава 4. Тень на стене

Спальня Саввы оказалась совсем не тем, что Вера ожидала увидеть, когда, выйдя из душа с мокрыми волосами и чужим полотенцем на плече, переступила порог его личного пространства. Здесь не было ни черного шелка, который она почему-то представляла обязательным атрибутом мужчин его склада, ни порножурналов на тумбочке, ни оружия под подушкой, о котором предупреждали все криминальные сериалы. Вместо этого её встретила огромная кровать с серым льняным бельем — простым, дорогим, какое показывают в журналах про скандинавский дизайн, — стены цвета утреннего тумана и несколько черно-белых фотографий гор, развешанных в строгом порядке. Суровых, молчаливых гор без единого человека на кадрах. Такое место скорее подошло бы монаху, далекому от мирской суеты, или художнику, бегущему от людей, но никак не человеку, который несколькими часами ранее рвал на ней одежду в грязном гараже.

— Раздевайся, — сказал он, входя следом и закрывая за собой дверь с мягким, почти неслышным щелчком.

Вера не пошевелилась. Она стояла у порога, сжимая в кармане спортивных штанов тот самый комок трусов — единственное, что осталось от её прежней жизни, от той Веры, которая ещё утром не знала вкуса чужой крови на губах и тяжести чужого тела на своём. И сейчас эти трусы казались ей не просто бельем, а последним оплотом нормальности, маленьким флагом, который она не готова была спустить.

— Я сказал, — голос Саввы стал тише, а значит, как она уже успела понять, гораздо опаснее, потому что настоящая угроза не кричит, она шепчет, — раздевайся. Я хочу видеть тебя, а не эту тряпку.

Она начала медленно, почти ритуально, будто каждый жест был частью какого-то страшного танца, который она не выбирала, но который уже выучила наизусть. Сначала стянула кофту через голову, и мокрые волосы рассыпались по голым плечам холодными прядями. Потом — штаны, которые упали к щиколоткам бесформенной серой лужей. Она осталась в одном белье — лифчика не было, он сгорел в том гараже вместе с её униформой, — и инстинктивно, по-женски, по-детски почти, прикрыла грудь руками, скрестив их на животе.

Савва рассмеялся. Коротко, как выстрел из глушителя, — звук, который не слышат соседи, но который убивает наповал.

— Стыдиться? — переспросил он, и в его голосе не было насмешки, было искреннее, почти наивное удивление. — После того, как кончала на бетоне? После того, как сама обхватила меня ногами и зарылась ногтями в спину?

— Я не стыжусь, — соврала Вера, и ложь получилась такой же прозрачной, как вода из-под крана. — Я замерзла.

Он подошел — медленно, как приближаются к раненой, но всё ещё опасной дичи, — и убрал её руки, просто разведя их в стороны, без усилия, без борьбы. Посмотрел на её грудь — без того голода, без той животной похоти, что она видела в гараже, с каким-то странным, почти медицинским интересом, словно он изучал не её тело, а ту реакцию, которую оно выдавало. Большим пальцем, грубым, с обкусанным ногтем, провел по соску, и тот мгновенно, предательски встал, будто только и ждал этого прикосновения.

— Не врешь, — кивнул Савва, и уголок его губ дрогнул в подобии улыбки. — Дрожишь, да. Но не от холода.

Он отошел, и Вера выдохнула — не поняла даже, что задерживала дыхание. Он открыл шкаф, огромный, во всю стену, с идеально разложенными вещами — все темные тона, все дорогие ткани, — и бросил ей на кровать мужскую футболку. Черную, мягкую, пахнущую им — тем самым коктейлем из виски, табака и чего-то ещё, от чего кружилась голова.

— Надень. В кровати не мерзнут.

Вера натянула футболку через голову, и та упала до середины бедра, скрыв всё, что он только что рассматривал с таким бесстыжим спокойствием. Ткань была теплой, словно он носил её сегодня, и это чужое тепло проникло под кожу быстрее, чем она успела подумать о том, что это значит.

Савва разделся сам — быстро, без стриптиза, без желания произвести впечатление. Скинул куртку, потом футболку, потом джинсы, и Вера не смотрела, правда не смотрела, но уголком глаза, краем сознания всё равно увидела: его тело оказалось картой шрамов. Круглые, с ровными краями — от пуль, их было не меньше пяти. Рваные, неровные — от ножа, эти тянулись по ребрам, по плечам, по животу. И одна татуировка, которую невозможно было не заметить, даже если очень стараться: на левой стороне груди, прямо над сердцем, готическим шрифтом было выведено женское имя. Алиса.

Он носит её под кожей, — поняла Вера с какой-то острой, режущей ясностью. — А теперь хочет, чтобы я спала рядом с этой татуировкой. Чтобы я чувствовала её тепло. Или холод.

Они легли в темноте — он не стал включать свет, только ночник в углу отбрасывал слабую тень на серые стены. Под одно одеяло, но не касаясь друг друга, как два незнакомца, которых случайно поселили в одном купе поезда дальнего следования. Савва на спине, с закрытыми глазами, и его дыхание было таким ровным, что она почти поверила — он спит. Вера на боку, свернувшись калачиком, поджав колени к животу, и старалась дышать тихо, почти не дышать, боясь спровоцировать, боясь, что любое движение будет воспринято как приглашение.

— Не спишь? — спросил он через десять минут, и голос его прозвучал в тишине так внезапно, что она вздрогнула.

— Нет.

— Боишься, что во сне задушу?

Вера задумалась на несколько секунд, и ответ пришел сам собой, без участия разума, из того самого места, где рождаются самые опасные женские признания.

— Боюсь, что не задушишь.

Наступила пауза — долгая, тягучая, такая, что Вера слышала, как за окном, в темном саду, ухает сова, отсчитывая чужие грехи. А потом рука Саввы — тяжелая, с татуированными пальцами, с черепами и крестами на сгибах — легла ей на талию поверх футболки. Не двигалась, не сжимала, просто лежала, теплая, тяжелая, будто якорь, который бросили, чтобы лодку не унесло течением.

— Расскажи, — тихо попросил он, и в этом «расскажи» не было приказа — была почти мольба, такая неумелая, что Вера не сразу её узнала. — Как ты жила до. Пока я не сломал тебе жизнь.

Вера замерла, и её собственное дыхание вдруг стало таким громким, что заглушило и сову, и часы, и его ровный пульс под ладонью. Это был первый вопрос, который не звучал как приговор, первый за всё это время, когда она могла выбирать — ответить или промолчать.

— Хоспис, — начала она медленно, и слова потекли сами, будто прорвали какую-то плотину, которую она строила годами. — Смены по двенадцать часов, иногда по шестнадцать, если кто-то из ночных заболел. Мужчина на третьей койке, бывший учитель физики, умирает от рака поджелудочной, и каждый вечер он просит рассказать, как там звезды, потому что в палате нет окна. Женщина напротив, её бросили дети, она зовет меня мамой и плачет, когда я ухожу. По ночам — Костя, его судороги, его молчание, его глаза, которые спрашивают: «Зачем я живу?». Сиделка, которую я еле оплачиваю. Я успевала поспать часа три, иногда четыре, если повезет. Потом снова — хоспис, Костя, хоспис.

— И ты была счастлива? — спросил Савва, и его большой палец начал медленно, почти незаметно водить по её талии, рисуя круги на мягкой ткани футболки.

— Я была нужна, — ответила Вера, и это было честнее любого «да» или «нет». — Кому-то. Не себе. И этого хватало.

Савва перевернулся на бок, и теперь его лицо оказалось в полуметре от её — она видела шрам, пересекающий бровь, сломанную переносицу, жесткую щетину, которая, наверное, царапает кожу, когда он целует. И глаза. Сейчас они были не ледяными, не теми, что прожигали её насквозь в гараже. Просто серыми. Уставшими. Человеческими.

— Алиса была медсестрой, — сказал он, и Вера почувствовала, как его пальцы на талии чуть сжались, будто он боялся, что она встанет и уйдет, не дослушав. — В детской реанимации. Тоже работала по двенадцать часов, тоже возвращалась домой и падала без сил, прямо в куртке, на диван. Я встретил её в кофейне у больницы, она пила американо с двумя сахарами и перевязывала локоть какому-то мальчишке, который упал с велосипеда. У неё даже пластыря с собой не было — оторвала подол своей футболки, представляешь? Футболка была новая, дорогая, я потом такую же купил, но она уже не носила.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила Вера, и голос её сел, потому что в этой темноте, под этим одеялом, с его рукой на своей талии она вдруг перестала понимать, где заканчивается враг и начинается просто человек.

— Чтобы ты знала, — ответил Савва, и его дыхание коснулось её щеки. — Я не чудовище. Я человек, у которого отняли всё. Не украли — отняли, вырвали с мясом, оставив дыру, которую ничем не заткнуть. И теперь я держусь за тебя, потому что ты — единственное, что пахнет так же, как она. Дешевым мылом, которым моют полы в больницах. И усталостью, которая не пахнет, а чувствуется кожей.

Он убрал руку — медленно, будто прощаясь с чем-то важным, — и отвернулся к стене. Через минуту его дыхание выровнялось, стало глубоким и ровным, и Вера поняла — он заснул. По-настоящему, без притворства, отдавшись сну, как отдаются только те, кто слишком долго не спал.

А Вера лежала и смотрела в потолок, на котором ночник рисовал причудливые тени, и впервые за эти сутки — за эти бесконечные, растянувшиеся в вечность сутки — не плакала. Не хотелось. Слезы кончились. В груди разрасталось что-то тяжелое, горячее, похожее на уголёк, который тлеет под слоем пепла и ждёт только ветра, чтобы разгореться снова.

Он не мстит, — поняла она, и эта мысль была страшнее любой угрозы, потому что она всё переворачивала с ног на голову. — Он лечит. Себя. Мной. Свою дыру. Свою боль. А я позволяю, потому что... потому что мне не жалко себя. Или жалко, но по-другому.

Она закрыла глаза и не заметила, как провалилась в сон — без снов, без кошмаров, просто в черную, глухую пустоту, которой так давно просило её тело.

Утром её разбудил шум. Не тот тихий, утренний шум нового дня, который она привыкла слышать в хосписе — шаги медсестер, звон посуды, чей-то кашель. Нет, это были голоса внизу, на первом этаже, и они звучали так, будто их обладатели забыли, что в этом доме есть хозяин, который не терпит громких ссор.

Мужской — хриплый, с кавказским акцентом, который она уже слышала вчера, когда её вели в дом. И женский — звонкий, истеричный, срывающийся на визг там, где нормальные люди говорят шёпотом.

— Савва, ты обещал! — кричала женщина. — Ты сказал, я буду первой! Ты сказал, что когда пройдет год, я перееду! А прошло уже четырнадцать месяцев!

Вера села на кровати, и футболка, в которой она спала, задралась почти до талии, оголив бледную кожу живота. В дверях спальни, не решаясь переступить порог, стоял незнакомый мужчина — тот самый, которого она мельком видела в автосалоне, лет сорока, в дорогом темно-синем костюме, с лицом, которое бывает у боксеров после сотни боев: сломанный нос, приплюснутые уши, тяжёлая челюсть. И за его спиной, пытаясь протиснуться мимо него

в спальню, — Дина. В коротком чёрном платье, с идеальным макияжем, который уже поплыл от слёз, и сжатыми от злости губами, на которых осталась помада только по краям.

— А это что за шлюха в твоей постели? — Дина ткнула пальцем в Веру, и этот палец с идеальным маникюром дрожал так, будто его хозяйку бил озноб.

Мужчина — тот самый, из автосалона, кажется, его звали Глеб — перехватил её за локоть и оттащил назад, не грубо, но твердо, как оттаскивают ребенка от горячей плиты.

— Дина, выйди, — сказал он тихо, но так, что в его голосе не осталось места для спора. — Не при детях.

— Каких детях? — заорала она, и её голос разбился на тысячу осколков, потому что она увидела Веру — заспанную, в чужой футболке, на кровати мужчины, который был ей нужен, как воздух. — Она медсестра! Она никто! Она пришла откуда-то из грязи! А я ждала! Я три месяца ждала, пока он перегорит, пока эта его Алиса перестанет ему сниться! А он...

Она не договорила, потому что из-за спины Глеба выросла фигура Саввы. Он появился бесшумно, как всегда, как будто материализовался из самой темноты коридора — в одних джинсах, босиком, с взлохмаченными после сна волосами и с таким выражением лица, от которого у Веры внутри всё оборвалось.

— Дина, — сказал он, и его голос был спокоен, вязок, как патока, которой заливают горло, чтобы не кричать. — Ты сейчас уедешь. Сама. Своей машиной. И больше никогда не появишься в этом доме. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Иначе Вадик, который стоит на лестнице и уже всё слышал, покажет тебе, как выглядит подвал изнутри. Не подвал в этом доме — другой. Тот, откуда не звонят.

Дина побелела — не побледнела, а именно побелела, до синевы губ, до дрожи в коленях. Она посмотрела на Савву, потом на Веру, потом снова на Савву, и в её глазах горело что-то такое, от чего Вере стало холодно, даже под теплым одеялом.

— Почему она? — спросила Дина, и голос её сломался, превратившись в шепот. — Она даже не красивая. У неё под глазами синяки. Она худая, как щепка. Я лучше. Я красивее. Я сильнее. Я...

— Потому что она единственная, кто не хочет здесь быть, — перебил её Савва, и в этой фразе было столько правды, что Вера почувствовала её физически — как удар под дых.

Дина всхлипнула, развернулась и побежала вниз по лестнице, гулко стуча каблуками по мраморным ступеням. Хлопнула входная дверь — так сильно, что задребезжали стекла в окнах. Через минуту за окном взревел двигатель её машины, и визг покрышек разрезал утреннюю тишину.

Глеб остался стоять в дверях, переминаясь с ноги на ногу, и смотрел на Веру так, будто видел её впервые.

— Вера? — сказал он осторожно, как спрашивают, когда боятся спугнуть. — Вы как?

— Жива, — ответила она, и её губы вдруг сами собой сложились в усмешку — не горькую, не злую, а какую-то новую, незнакомую. — Глеб, а вы правда стихи пишете?

Он растерялся так, что даже покраснел — взрослый мужчина в дорогом костюме, с лицом боксера, покраснел, как мальчишка, которого застали за чтением любовного романа. Он оглянулся на Савву, но тот уже ушел в ванную, и звук льющейся воды доносился оттуда приглушенно.

— Откуда... — начал Глеб, но Вера его перебила.

— Видела блокнот в машине, когда меня везли. Тонкая тетрадь, синяя. На обложке — Есенин. Вы его перечитываете, я заметила, потому что страницы замяты, не как у новой книги.

Глеб молчал. Молчал так долго, что Вера уже подумала — сейчас он развернется и уйдет, хлопнув дверью. Но он не ушел. Он стоял, смотрел на неё, а потом кивнул — одними бровями, молча, по-мужски.

— Не говорите Савве, — попросил он, и в его голосе вдруг проступило что-то детское, беззащитное. — Он не поймет. Он думает, стихи — это для баб. Или для слабаков.

— Я умею хранить чужие тайны, — ответила Вера, и она не врала. Хоспис научил её этому лучше всякой школы. — Могила.

Глеб кивнул ещё раз, быстро, будто боялся, что она передумает, и вышел, закрыв за собой дверь.

Вера осталась одна. В кровати, которая пахла Саввой и виски, на подушке лежал один его волос — черный, жесткий, с седым кончиком. Она подняла его, покрутила в пальцах, и... не выбросила. Просто положила на тумбочку, рядом с остывшей чашкой, которую он принес ей вчера.

«Ты падаешь, — сказала она себе, глядя на этот волос, на эту кровать, на эту жизнь, которая ворвалась в её размеренное существование, как поезд на красный свет. — Падаешь в него, как в шахту. И тебе нравится этот полет. Потому что на дне, может быть, не камни, а вода. И она не убьет. Она просто накроет с головой, и ты вынырнешь другой».

Савва вернулся через час, когда она уже успела умыться, найти в шкафу расческу и более-менее привести себя в порядок. Он принес кофе — черный, без сахара, в её любимой кружке, которую она ни разу здесь не видела (откуда он знал, какую она любит? — спросила она себя, но ответа не нашла). Поставил на тумбочку, рядом с тем самым волосом, который она так и не выбросила.

— Одевайся, — сказал он, садясь на край кровати и завязывая шнурки на тяжелых ботинках. — Поедем в хоспис. Ты должна уволиться. Я найду кого-нибудь на твое место, заплачу в два раза больше, никто не откажется.

— Нет, — сказала Вера, и её голос прозвучал тверже, чем она ожидала.

Савва замер. Медленно поднял голову, и в его серых глазах снова зажглась та льдинка, которую она уже начинала ненавидеть и бояться одновременно.

— Что значит «нет»? — переспросил он, и каждое слово было как лезвие.

— Я не уволюсь, — повторила Вера, и она встала с кровати, подошла к нему, хотя ноги тряслись, а сердце билось где-то в горле. — Ты можешь меня насиловать, можешь держать в своем доме, можешь заставить спать в своей постели и чувствовать твою руку на своей талии каждую ночь. Но хоспис — мое. Это единственное, что осталось от той Веры, которую ты убил в гараже. И если ты это отнимешь, я сделаю то, чего ты боишься больше всего на свете.

Она не знала, откуда взяла эти слова. Может быть, они спали в ней годами, дожидаясь своего часа. Может быть, их нашептал тот самый уголек, который тлел в груди. Но они вышли — четкие, холодные, не терпящие возражений.

— И что же? — спросил Савва, и он тоже встал, нависая над ней на целую голову, закрывая свет торшера своей широкой спиной.

Вера сделала шаг вперед, почти вплотную к нему, и посмотрела снизу вверх — не вызывающе, не дерзко, а так, как смотрят на человека, которого уже не боятся, потому что бояться уже нечего.

— Перестану тебя чувствовать, — сказала она. — Стану куклой. Буду лежать под тобой, как доска, и смотреть в потолок пустыми глазами. Ты будешь кончать в пустоту, Савва, потому что меня там не будет. Только тело. Твоя ночная гостья, которую ты заказал, но которая уже ушла, не заплатив. Понял?

Она не дрожала. Она не плакала. Она просто стояла и смотрела ему в глаза, и ждала — удара, пощечины, новой порции ненависти, которой он мог её накормить до отвала.

Но Савва не ударил. Он смотрел на неё долго — так долго, что Вера начала слышать, как бьётся её собственное сердце, и понимать, что он тоже его слышит, потому что расстояние между ними сократилось до одного короткого вдоха. А потом он улыбнулся.

Не страшно. Не насмешливо. Не так, как улыбаются победители. А так, как улыбаются люди, которые находят то, что искали всю жизнь, и не могут поверить, что это не сон.

— Хорошо, — сказал он, и его голос вдруг стал мягче, будто льдинка в его глазах растаяла, оставив просто воду. — Хоспис остается. Но каждый вечер, после смены, ты возвращаешься сюда. И каждый вечер я буду ждать тебя в этой кровати. И каждую ночь ты будешь вспоминать, почему боялась умирать. Не потому, что смерть страшна. А потому, что жизнь без страха — это уже не жизнь.

Он вышел, даже не обернувшись, и дверь за ним закрылась с тем же мягким щелчком, что и прошлой ночью.

А Вера осталась стоять посреди спальни, сжимая в руках кружку с горячим кофе — таким горячим, что керамика жгла пальцы, но она не отпускала. И смотрела вслед.

«Ты проигрываешь, Савва, — подумала она, и эта мысль была слаще любого признания. — Потому что я уже не боюсь. Я начала играть. И в этой игре у меня есть то, чего нет у тебя. Мне нечего терять».

Глава 5. Чабрец и сталь

Хоспис встретил Веру тем самым запахом, который она научилась распознавать еще на первом курсе медицинского, когда вместе с другими студентами они впервые переступили порог отделения паллиативной помощи. Здесь смерть пахла не трупам — вопреки расхожему мнению, в хорошем хосписе она пахла чабрецом, перекисью водорода и почему-то яблоками, и этот странный коктейль со временем становился для Веры таким же родным, как запах материнской кухни в детстве. Баба Зина, старшая медсестра, которая работала здесь дольше, чем Вера прожила на свете, говорила, что яблоки — это фрукт прощания, потому что Адам с Евой съели запретный плод и попросились с раем, и теперь каждый, кто уходит, оставляет после себя этот сладковатый, чуть терпкий аромат, который нельзя перебить ничем.

Вера вошла через черный ход, как делала это всегда, — не потому, что боялась кого-то встретить или отвечать на неудобные вопросы, просто привыкла, и привычка эта была единственным, что оставалось неизменным в её жизни последние два года. Её белый халат висел на своем месте, в шкафчике под номером семь, рядом стояла сменная обувь — старая, разношенная, но чистая, потому что она мыла её каждую неделю хлоркой, хотя другие медсестры давно перешли на одноразовые бахилы. Она переделалась, глядя в мутное зеркало, которое помнило сотни лиц, и увидела на своей шее следы — синяки от пальцев, фиолетовые, с желтоватой каймой по краям, и ссадину на ключице там, где Савва вцепился зубами в тот самый момент, когда её тело предало её окончательно и бесповоротно.

«Прикрой, — приказала она себе, но руки не поднялись поправить воротник. — Или не прикрывай. Кому какое дело до медсестры из хосписа?»

Баба Зина увидела. Конечно, увидела — её цыганские глаза, темные и острые, замечали то, что другие пропускали мимо, потому что привыкли не смотреть. Когда Вера вышла в коридор, старуха стояла у поста, перебирая ампулы с морфином и раскладывая их по ячейкам в алфавитном порядке, и даже не подняла головы. Сказала только тихо, будто не Вере, а себе:

— Чабрец заварила. Пей. Тебе сейчас горькое надо.

— Зинаида Степановна, я...

— Молчи, дочка. — Баба Зина подняла глаза, и Вера увидела в них то, что видела уже много раз — знание, которое не купишь ни за какие деньги, которое приходит только с годами, проведенными рядом с теми, кто стоит на пороге. — Я карты на тебя кинула ночью, когда ты не спала. Выпал Перевернутый Колесницей и Повешенный. Ты говоришь, он тебя сломал? А карты говорят — ты сама в петлю полезла.

Вера взяла кружку, которую старуха протянула ей дрожащими пальцами, и сделала глоток — чабрец обжег губы, те самые, треснувшие, с запекшейся кровью там, где Савва вырвал кляп, и эта боль была почти приятной, потому что напоминала, что она ещё жива.

— Я не поле...

— Полезешь, — перебила Баба Зина, и её голос стал жестче, строже, как у матери, которая отчитывает непослушного ребенка. — И уже залезла, дочка. Но не бойся. У повешенного есть один секрет, который знают только те, кто висел. Он видит мир иначе — вверх ногами. Может, ты там, сверху, разглядишь то, чего мы, стоячие, не видим. А если нет — что ж, значит, не судьба.

Вера не ответила, потому что ответа не было — ни в голове, ни в сердце, которое вдруг забилося ровнее, спокойнее, будто эти странные слова про карты и повешенного имели какой-то смысл, недоступный её пониманию. Она пошла по палатам, как делала это сотни раз, и первый — бывший учитель физики, Николай Иванович, который лежал здесь уже три месяца и с каждым днем таял, как свеча. Сегодня он не узнал её, и это было не в первый раз, но каждый раз Вера чувствовала укол острой, ничем не притупляющейся боли — он смотрел в потолок,

шептал формулы, которые никто уже не мог проверить, и его пальцы, тонкие, прозрачные, перебирали край простыни, будто считали невидимые бусы. Вера сменила капельницу, поправила подушку, погладила его по руке, и он замер на секунду, повернул голову, посмотрел на неё пустыми, ничего не выражающими глазами и сказал: «Спасибо, доченька», — и это было чудом, потому что вчера он не говорил совсем.

Второй палатой была женщина с раком груди, которую звали Света, и ей было всего сорок три, но выглядела она на все семьдесят, потому что химия сжигает не только опухоли, но и всё живое вокруг. Света плакала тихо, в подушку, чтобы не беспокоить соседку, и Вера, не говоря ни слова, села рядом, обняла её за плечи, прижала к себе и просто молчала, потому что иногда слова — это лишнее, иногда нужно только тепло чужого тела, чтобы напомнить: ты не одна. Света перестала плакать через несколько минут, а потом подняла голову, посмотрела на Веру покрасневшими глазами и сказала:

— Ты пахнешь мужчиной. Сильным. Опасным. Вера, ты в порядке?

— Всё хорошо, — соврала Вера, и ложь получилась такой же привычной, как запах чабреца. — Это новый одеколон.

Рабочий день тянулся как жвачка — вязко, медленно, с привкусом горечи во рту, которую не смывал даже чабрец. Вера делала уколы, меняла простыни, разговаривала с родственниками умирающих, и каждый раз, когда она смотрела в глаза людям, которые прощались с теми, кого любили, она думала о Косте, о Савве, о себе — о том, что все они, живые и мёртвые, стоят на одной тонкой линии, и никто не знает, когда и с какой стороны упадёт. Один раз она вышла покурить на крыльцо — хотя не курила никогда, потому что легкие были её рабочим инструментом, — но сегодня ей просто нужно было глотнуть воздуха без запаха смерти, без чабреца и яблок, просто холодного, сырого, пахнущего осенью и предстоящим дождём.

И тут же увидела чёрный внедорожник у забора, и сердце пропустило удар — не от страха, нет, от чего-то другого, от того самого, чему она не хотела давать имя.

Савва? Нет, не он. Глеб. Он вышел из машины, замялся на несколько секунд, переминаясь с ноги на ногу, как мальчишка, которого вызвали к доске, а он не выучил урок, и потом всё-таки подошел.

— Вера, — сказал он негромко, оглядываясь по сторонам, будто боялся, что их разговор кто-то подслушает. — Савва просил передать. Вот.

Он протянул пакет — тяжёлый, солидный, из плотной чёрной ткани, и внутри оказался ноутбук. Новенький, тонкий, такой, какие показывают в рекламе, где счастливые люди работают в кафе и улыбаются друг другу. И телефон — с защитой, как он сказал, и с толстым резиновым чехлом, который, наверное, не боится ни воды, ни ударов.

— Сказал, чтобы вы всегда были на связи, — добавил Глеб, и в его голосе проскользнуло что-то похожее на извинение, будто он чувствовал себя не курьером, а соучастником.

— Глеб, — Вера взяла пакет, и он оказался тяжелее, чем она думала, — скажите ему, что я не подопытная крыса. Я не обязана отвечать на каждый звонок и не обязана отчитываться за каждую минуту.

— Скажу, — кивнул Глеб, и его лицо, которое обычно ничего не выражало, вдруг стало мягче, почти домашним. — А вы... вы правда видели мой блокнот?

— Правда. И мне понравилось. Особенно про весну, которая приходит только в конвертах, и про то, как письма пахнут чужими городами.

Глеб покраснел — взрослый мужчина, наверное, за сорок, с лицом, которое видело такое, что другим и не снилось, покраснел, как школьник, которого похвалила учительница. Он отвернулся, посмотрел на хоспис, на его облупившуюся краску, на зашторенные окна, за которыми умирали люди, и сказал тихо, почти про себя:

— Здесь хорошо пахнет. Не как в нашей жизни. Не как у нас там, где пахнет порохом и потом страха.

— Уходите, Глеб, — ответила Вера, и её голос прозвучал мягче, чем она хотела. — А то привыкнете. А привыкать к запаху смерти — это не то, чему стоит учиться.

Он ушел, и машина скрылась за поворотом, а Вера вернулась внутрь, и в кармане её халата тут же завибрировал телефон — сообщение от несохраненного номера, но она уже знала, от кого. Одно слово, написанное заглавными буквами, без приветствия и без подписи:

«Домой. В семь. Я жду».

Она не ответила. Убрала телефон в карман и пошла к следующей палате, где лежал мужчина с раком лёгких, который каждое утро просил окно открыть, чтобы он мог видеть небо, даже если дышать ему оставалось всего ничего.

В семь часов вечера, без пяти минут, она стояла у его дома. Не потому, что боялась последствий, и не потому, что Глеб передал ей угрозы, которые она не услышала в его голосе. Просто она устала спорить — с ним, с собой, с этим странным, выворачивающим наизнанку чувством, которое заставляло её возвращаться туда, где её унижали, туда, где её брали силой, туда, где она впервые за долгое время почувствовала себя живой.

Савва встретил её в гостиной, и это было так непохоже на прошлые вечера, что она замерла на пороге, не зная, чего ожидать. Он был в спортивных штанах и простой серой футболке, без обычной кожаной брони, без той жесткой оболочки, которая делала его похожим на памятник самому себе, и в руках он держал книгу. Не боевик и не криминальный роман, каким она предполагала его чтение, а медицинский справочник — толстый, потрепанный, с закладками на разных страницах, будто он читал его не от корки до корки, а выборочно, выискивая что-то важное только для себя.

— Учишься убивать без следов? — спросила Вера, и её голос прозвучал насмешливее, чем она хотела, но страх заставил её спрятаться за этой насмешкой, как за щитом.

— Учусь понимать, что у тебя болит, — ответил он, не поднимая глаз от страницы, и в его тоне не было ни угрозы, ни вызова, только усталая констатация факта. — Ты прихрамываешь на левую ногу. Варикоз? Или старая травма?

— Усталость, — сказала Вера, и это была правда, но не вся. — Я двенадцать часов на ногах. И не спала нормально уже трое суток.

— Тогда садись, — он кивнул на диван, стоящий у камина, в котором горел огонь, хотя на улице было не так холодно. — Иними обувь. Я сделаю массаж.

Вера опешила настолько, что не нашла слов сразу, а когда нашла, они прозвучали резче, чем она планировала:

— Ты с ума сошел.

— Возможно, — ответил Савва, и уголок его губ дрогнул в той странной полуулыбке, которую она уже видела однажды. — Но ты всё равно сядешь. Потому что я приказал.

И она села — медленно, как садятся на эшафот, когда уже не надеешься на помилование. Савва опустился перед ней на колени — впервые за всё время их знакомства он оказался ниже, и эта перемена ролей была такой ошеломляющей, что у Веры перехватило дыхание. Он снял её кроссовки, потом носки, и его грубые, татуированные пальцы легли на её ступни — уставшие, распухшие к концу дня, покрытые мозолями, которые она давно перестала замечать.

Он начал мять — неумело, жестко, без того профессионального знания, которое было у массажистов, но от этого не менее приятно, потому что каждый его жест отзывался в её теле не только болью, но и чем-то ещё, чем-то таким, от чего хотелось закрыть глаза и просто чувствовать. Вера закусила губу, чтобы не застонать, и сжала край дивана так, что побелели пальцы.

— В хосписе что-то случилось? — спросил он, и его голос был ровным, почти безразличным, но она уже научилась слышать в этой ровности напряжение.

— Умер Николай Иванович, — ответила Вера, и эти слова дались ей легче, чем она ожидала. — Через час после моего прихода. Тихо. Дочь не успела попрощаться.

— Ты плакала?

— Нет, — она покачала головой, хотя в горле стоял ком. — Плакала дочь. Я держала её за руку. Два часа. Пока она не успокоилась.

Савва поднял голову, и их взгляды встретились — её уставший, покрасневший от недосыпа и скрытых слез, его голодный, жадный, но не той животной жадностью, что была в гараже, а другой — почти нежной, почти человеческой. Он перестал массировать, но не убрал руки — просто держал её ступню в своих грубых ладонях, и это прикосновение было теплее, чем огонь в камине.

— Я хочу, чтобы ты знала, — сказал он, и каждое слово давалось ему с трудом, будто он выталкивал их из себя, сопротивляясь собственному желанию промолчать. — Сегодня не будет секса. Ты устала. Я не зверь.

— Ты уже зверь, — выдохнула Вера, и её голос сорвался на хрип, потому что она вдруг поверила ему, и эта вера была страшнее любой лжи. — Просто притворяешься человеком. Иногда.

— А ты притворяешься, что боишься, — он покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на грусть. — Но у тебя пульс спокойный. Я чувствую.

Он поднялся, помог ей встать — протянул руку, и Вера взяла её, не думая, просто потому, что это было естественно, потому что в этой комнате, в этом доме, с этим мужчиной она вдруг перестала быть заложницей и стала кем-то другим, к чьему имени ещё не подобрала определения. Он повел её наверх, в спальню, и на этот раз в его голосе не было приказов — только приглашение, почти просьба, когда он взял её за руку и повёл по лестнице, освещенной тусклым ночником. Вера позволила.

В спальне он уложил её в кровать, накрыл одеялом — тем самым, серым льняным, которое пахло им и, как ни странно, лавандой, — и лёг рядом, но оставил расстояние, не прикасался, только положил руку под голову и уставился в потолок, где ночник рисовал те же тени, что и в прошлую ночь.

— Когда я был маленький, — сказал он вдруг, и голос его стал тихим, почти детским, — мать выгоняла меня на холод. За то, что я не хотел есть суп. Я сидел на лестнице и плакал, и никто не выходил, потому что соседи боялись, а отец был в запое. Соседка, тётя Рая, давала мне хлеб с маслом. Она была медсестрой. Пахла так же, как ты. Дешёвым мылом и почему-то яблоками.

Вера повернулась к нему, и теперь её лицо было в полуметре от его — она видела шрам на брови, сломанную переносицу, жесткую щетину, и этот человек, который ещё вчера казался ей воплощением зла, вдруг стал просто мужчиной, который когда-то был мальчиком, которого не любили.

— Что с ней стало? — спросила она, хотя боялась ответа.

— Умерла, — сказал Савва, и его голос дрогнул — в первый раз за всё время. — Рак за два месяца. Я был тогда уже «смотрящим», у меня были деньги, связи, я мог привести любых врачей, купить любые лекарства. Пришёл к ней в больницу — она не узнала. Позвала меня Сашенькой. А я не Саша. Я Савва.

— Ты привязался к ней, — это был не вопрос, потому что ответ Вера видела в его глазах, в том, как они сузились, как зрачки расширились, как на скулах заиграли желваки.

— Она была единственной, кто меня жалел, — Савва закрыл глаза, и его дыхание стало глубже, ровнее, будто он засыпал на полуслове. — А теперь спи, Вера. Я не буду тебя трогать. Сегодня ты в безопасности. Насколько это вообще возможно в моём доме.

Вера не спала. Она лежала с открытыми глазами, глядя в потолок, на те же тени, что и вчера, и слушала его дыхание — спокойное, глубокое, без той звериной настороженности, которая была в первую ночь. И вдруг, в этой тишине, нарушаемой только потрескиванием дров в камине, который, наверное, топили внизу, она поняла то, что боялась признать даже себе.

Впервые за долгое время она не хотела отсюда сбежать. Она хотела здесь остаться. Не потому, что её держали силой, и не потому, что боялась последствий. А потому, что этот мужчина — сломанный, жестокий, опасный, готовый убивать и, возможно, умирать — оказался единственным, кто видел её настоящую. Ту Веру, которую она сама от себя прятала за халатом медсестры, за дежурной улыбкой, за бесконечной заботой о брате. Ту Веру, которая устала быть сильной и хотела, чтобы кто-то, наконец, взял её за руку и сказал: «Я справлюсь. Ты можешь отдохнуть».

«Господи, — подумала Вера, и эта мысль была острее любого лезвия, потому что она была правдой, которую невозможно перерезать. — Кажется, я влюбляюсь в своего палача».

Она закрыла глаза и не заметила, как уснула, а когда проснулась утром, рядом никого не было, но на тумбочке стояла кружка с чабрецом — горячим, свежим, и в ней плавал крошечный кусочек аниса, который она любила, но никогда ему об этом не говорила. Откуда он узнал?

Она не знала. Она только знала, что сделала первый глоток и не смогла сдержать улыбку — горькую, неуверенную, но настоящую. Первую за последние трое суток.

Глава 6. Глаза не должны моргать

В полночь, когда Вера уже начала верить, что эта ночь обойдется

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.